

Бориса
Иванов

NOTRE-DAME-DES-FLEURS

**JEAN
GENET**

*Биомагерь
цветов!*

ЖАН ЖЕНЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44
Ж54

Jean Genet
NOTRE-DAME-DES-FLEURS

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard

Издательство выражает благодарность художнику
Chris Lopez (<http://www.lopezgallery.com>)
за иллюстрацию на обложке.

Жене, Жан.

Ж54 Богоматерь цветов / Жан Жене / пер. с фр. А. Смирновой. — Москва: Издательство АСТ, 2015. — 416 с. — (Книга non grata)

ISBN 978-5-17-090851-6

Адепт радикального индивидуализма Жан Жене – пожалуй, самая яркая фигура 20-го века. Поль Валери, прочитавший «Богоматерь цветов» сказал, что это произведение гения, но его следует сжечь.

Для России – «святой» Жене все так же на самом фронтире, а его тексты не могут быть освоены современной культурой.

«Негр Анж Солей убил любовницу. Чуть позже солдат Морис Пилорж убил своего любовника Эскудеро и украл у него около тысячи франков, а потом в день его двадцатилетия ему отрубили голову, и во время казни, вы ведь помните, он насмеялся над своим взбешенным палачом. И наконец, один морской лейтенант, совсем еще мальчик, был уличен в предательстве: его расстреляли. В память об их преступлениях я пишу эту книгу», – Жан Жене.

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-090851-6

© Editions GALLIMARD, Paris, 1976
© Алла Смирнова, перевод
© Chris Lopez, иллюстрация на обложке
© ООО «Издательство АСТ», 2015

Без Мориса Пилоржа, чья смерть омрачила всю мою жизнь, я не написал бы этой книги. Я посвящаю ее его памяти.

Ж.Ж.

Вейдман явился вам в пятичасовых новостях, с головой, обмотанной белыми бинтами, похожий одновременно на монашку и на раненого летчика, упавшего в поле ржи; явился однажды сентябрьским днем, точно таким же, как тот, когда стало известно имя Нотр-Дам-де-Флёр. Его прекрасное лицо, размноженное линотипом, обрушилось на Париж и всю Францию, вплоть до самых отдаленных деревушек, на замки и хижинны, открывая опечаленным людям простую истину: их повседневная жизнь соприкоснулась с пленительными убийцами, которые прокрались в их сны, прошли сквозь них по приставной лестнице, и она, их тайная сообщница, ни разу не скрипнула. Под его изображением занимались зарею его преступления: убийство номер 1, убийство номер 2, убийство номер 3, и так до шести, они извещали о его нынешней тайной славе и провозглашали славу грядущую.

Чуть раньше негр Анж Солей убил любовницу.

Чуть позже солдат Морис Пилорж убил своего любовника Эскудеро и украл у него около ты-

сячи франков, а потом в день его двадцатилетия ему отрубили голову, и во время казни, вы ведь помните, он насмеялся над своим взбешенным палачом.

И наконец, один морской лейтенант, совсем еще мальчик, был уличен в предательстве: его расстреляли. В память об их преступлениях я пишу эту книгу.

Вести об этих прекрасных и сумрачных цветах, о всплесках их цветения, доходили до меня обрывками: о чем-то поведал клочок газеты, о чем-то небрежно проговорился мой адвокат, о чем-то рассказали, почти пропели заключенные – их пение казалось фантастическим зонгом и похоронным маршем (некий *De Profundis*), как жалобы, которые они распевают по вечерам, и голос, проникающий сквозь стены камер, доносит до меня их тревогу, отчаяние, жажду. В конце фразы голос словно ломается, и эта трещина-надрыв делает его до такой степени пленительным, что кажется, будто звучит музыка ангелов, и это вызывает у меня ужас, потому что ужас вызывают сами ангелы, ведь они, как мне представляется, устроены так: ни духа, ни плоти, белесые, смутные и пугающие, словно полупрозрачные тела привидений.

Эти убийцы, теперь уже сами мертвые, все же проникли ко мне, и каждый раз, когда одна из этих траурных звезд спускается в мою камеру, сердце начинает колотиться сильнее, напоминающая раскаты барабана, извещающие, что город сдан. А затем меня охватывает горячее волнение, подобное тому, которое скрутило меня и заставило на несколько минут нелепо съежиться, когда я услышал пролетающий над тюрьмой немецкий самолет и разрыв сброшенной им совсем рядом бомбы. В мгновенной вспышке возник передо мной одинокий мальчик, уносимый железной птицей, с улыбкой сеющей смерть. Из-за него одного неистовствовали сирены, колокола, прогремел сто один выстрел пушки на площади Дофин, разносились крики ненависти и ужаса. Камеры дрожали, тряслись, безумствовали от страха, заключенные бросались на двери, катались по полу, вопили, рыдали, проклинали и молили Бога. Я видел, говорю я вам, или мне показалось, что я видел восемнадцатилетнего мальчика в самолете, и из недр своей 426 я послал ему улыбку любви.

Не знаю, кому на самом деле принадлежат эти лица, что обрызгали стену моей камеры жемчужной грязью, но совсем не случайно я стал вырезать из журналов эти прекрасные портре-

ты с пустыми глазами. Я говорю пустыми, потому что все они светлые и, наверное, небесно-голубые, как проволока, на которой держится звезда, испускающая рассеянный свет, голубые и пустые, как окна строящихся зданий напротив, через которые можно увидеть небо. Как утренние казармы, открытые всем ветрам, которые кажутся пустыми и чистыми, когда кишат опасными самцами, развалившимися вперемежку на своих койках. Я говорю пустые, но когда они опускают веки, то тревожат и смущают меня больше, чем девочку-подростка, что проходит мимо зарешеченных окон огромных тюрем, за которыми спит, мечтает, сквернословит, харкает толпа убийц, и каждая камера превращается в гадюшник, клубок змей, а еще в исповедальню со шторкой из пыльной саржи. За ними, этими глазами, не видится никакой тайны, они как некоторые города-крепости: Лион, Цюрих, они завораживают меня, как пустые театры, обезлюдевшие тюрьмы, неработающие механизмы, пустыни, ибо пустыни тоже огорожены со всех сторон, как крепости, и не сообщаются с бесконечностью. Люди с такими лицами приводят меня в ужас, когда мне приходится на цыпочках проскальзывать мимо, но какой восхитительный сюрприз, когда в этом ландшафте, на пово-

роте безлюдной улочки я, растерянно приблизившись, не обнаруживаю ничего, лишь пустоту, мучительную, горделиво вознесшуюся ввысь, как стебель наперстянки!

Как я уже говорил, не знаю, в самом ли деле это лица моих казненных друзей, но по некоторым признакам я понял, что они, те, которые на стене, податливы, словно ремешки кнута, нестигаемы, как ножи, сведущи, как дети-ученые, и свежи, как незабудки, с телами, избранными, чтобы в них поселились ужасные души.

В мою камеру газеты приходят плохо, и самые красивые страницы уже разворованы, как майские сады, из них похищены самые прекрасные цветы, эти воры. Неумолимые, суровые воры с горделивым стеблем в паху, и я уже не знаю, может, это лилии, а может, и вовсе эти стебли, эти лилии – не совсем они, и по вечерам, стоя на коленях, я мысленно охватываю руками их ноги – такая твердость меня подавляет и приводит в замешательство их самих, а воспоминания, которые я с наслаждением отдаю на растерзание своим ночам, это воспоминания о тебе, который во время моих ласк оставался неподвижен; только твой, готовый к бою, жезл бился в моем рту с неожиданно злобной жесточенностью колокольни, прорвавшейся черниль-

ным облаком, словно в грудь ткнули шляпной булавкой. Ты не шевелился, ты не спал, не мечтал, ты обратился в бегство, бледный и неподвижный, заледеневший, прямой, одеревенело вытянувшийся на плоском ложе, как гроб на волнах, а я знал, что мы целомудренны и невинны, и внимательно следил, как ты перетекаешь в меня, теплый и белый, короткими безостановочными толчками. Возможно, ты наслаждался наслаждением. На самом пике безмятежный экстаз озарил твое лицо, и твое тело блаженного оказалось окутано божественным сиянием, словно покровом, сквозь который ты просвечивал с головы до ног.

Однако мне удалось заполучить два десятка фотографий, и я приклеил их хлебным мякишем на обратной стороне вывешенного на стене распорядка дня. Некоторые из них оказались пришпилены кусочками латунной проволоки, которую мне приносит старший мастер, чтобы я нанизывал на них бусинки цветного стекла.

Из тех же бусин, из которых заключенные соседних камер мастeryт погребальные венки, я для самых страшных преступников смастерил звездообразные рамки. Вечером, как вы открываете окно на улицу, я поворачиваю обратной стороной правила внутреннего распорядка.

Улыбающиеся и хмурые, те и другие неумолимые, пробираются в меня через все распахнутые отверстия, их сила заполняет и возвышает меня. Я живу среди этих бездн. Они правят моими привычками, которые, вместе с ними самими, и есть вся моя семья и мои единственные друзья.

Вполне возможно, среди этих двух десятков и затесался парень, который не совершил ничего достойного тюрьмы: какой-нибудь спортсмен-чемпион. Но если я все-таки прикрепил его на свою стену, значит, мне показалось, будто у него в уголке рта или у краешка века имеется священный знак чудовища. Некий надлом черт лица или что-то в их жесте указывают мне: возможно, они меня любят, ибо любят они меня только если они чудовища – и значит, можно сказать, что он, этот случайно сюда попавший, сам сделал выбор, решив оказаться здесь. Чтобы окружить их достойным кортежем и свитой, я стал подбирать здесь и там, с обложек приключенческих романов то юного мексиканца-метиса, то гаучо, то кавказского всадника, и на страницах этих романов, которые передают из рук в руки во время прогулок, неумелые рисунки: профиль вора с папиросой в зубах или силуэт парня с торчащим членом.

По ночам я люблю их, и моя любовь вдыхает в них жизнь. Днем я погружен в разные хлопоты. Я, как внимательная хозяйка, слежу, чтобы ни крошка хлеба, ни горстка пепла не упала на пол. Зато ночью! Страх перед охранником, который может неожиданно зажечь верхний свет или сунуть голову в прорезанное в двери окошко заставляет меня принимать гнусные меры предосторожности, чтобы скомканное одеяло не выдало моего удовольствия, но если мой жест и теряет в благородстве, то необходимость соблюдать тайну лишь увеличивает наслаждение. Я парю. Правая рука под одеялом медлит, лаская отсутствующее лицо, а потом и все тело того человека-вне-закона, которого я избрал, чтобы этим вечером он составил мое счастье. Левая ладонь охватывает контур, пальцы смыкаются на воображаемом члене, который сперва пытается вырваться, затем отдается, раскрывается, и сильное тело, здоровенный бугай, отделившись от стены, падает на меня, вдавливая в соломенный тюфяк, заляпанный сотней заключенных, а я проваливаюсь в это счастье, не сомневаясь, что существует Бог и Его Ангелы.

Никто не может сказать, выйду ли я отсюда, а если выйду, то когда.

С помощью моих неизвестных возлюбленных я буду писать эту историю. Мои герои – они, прилепленные на стену, они и я, запертый здесь на замок. По мере того как вы станете читать эту книгу, ее персонажи, и Дивин, и Кулафруа, будут падать со стены на мои страницы, как осенние листья, чтобы удобрить мое повествование. Придется ли мне рассказывать про их смерть? Она станет для всех смертью человека, который, узнав от суда присяжных, что ему предстоит умереть, только и пробормочет со своим рейнским акцентом: «Я уже далеко отсюда». (Вейдман).

Возможно, эта история и не покажется надуманной, и даже без моей помощи в ней можно будет узнать голос крови: а если мне и придется биться ночью лбом в дверь, пытаюсь освободиться от мучительного воспоминания, которое преследовало меня со дня сотворения мира, то простите уж мне. Эта книга всего лишь частичка моей внутренней жизни, и только.

Порой подкравшийся на бархатных ногах охранник здоровается через окошко. Он долго, многословно рассказывает о моих соседях мошенниках, о поджигателях, о фальшивомонетчиках, об убийцах, об отчаянных подростках, которые катаются по полу с криком: «Мама, по-